Девочка

Среди больных, гулявших в полдень по дорожкам парка, вдыхая целебный воздух моря, я увидал однажды девочку, поразившую меня огромными глазами, полными какой-то странной грусти, – грусти, как бы молча спрашивавшей о чем-то.

Трудно было определить её лета – тёмные вопрошающие глаза её смотрели старчески серьёзно, взгляд её был взглядом человека, много страдавшего и думавшего. Но её худое, костлявое тельце и маленькое личико не позволяли дать ей более десяти лет.

Розовая блузка висела на её угловатых плечах, как на вешалке, и весёлый цвет материи ещё резче оттенял жёлтую кожу иссушённых болезнью щёк и шеи. Девочка была немножко горбата и ходила переваливаясь с ноги на ногу – очевидно, у неё ноги были кривы. Но невыразимая и грустная прелесть глаз больного ребёнка, привлекая и сосредоточивая на себе внимание, как бы сглаживала уродство тела, исковерканного болезнью, и девочка была красива одухотворённой красотой мученицы.

Было ясно видно, что бремя болезни, исковеркавшей её хрупкие кости, она несла со дня своего рождения и что скоро уже смерть снимет с неё это бремя. Она кашляла зловещим, сухим кашлем, и, когда проходила близко от меня, я слышал – может быть, это казалось мне – её учащённое дыхание. Среди роскошной растительности парка, в блеске южного солнца, она возбуждала странное и болезненное чувство – было жалко её и как-то неловко пред ней – точно я сам косвенно был виноват в том, что она так несчастна. Бывало, она медленно идёт по дорожке парка и смотрит пред собой своими дивными глазами – вокруг неё всё цветёт и жадно дышит оживляющим воздухом весны, поют птицы, кипарисы кадят небу своим ароматом, журчат обильные водой ручьи, всюду прорезывая зелёные лужайки парка, море и небо любуются друг на друга, добродушно ворчат волны – точно сказки говорят; девочка как бы не видит богатых красок и не слышит музыки возрождения природы, она идёт к старому кедру и там, в тени его могучих ветвей, садится на лавочку. Её провожает всегда одно и то же лицо – высокий человек, щегольски одетый, с неподвижным лицом и с большим перстнем на указательном пальце правой руки, в которой он всегда держит толстую палку.

Когда девочка садится на скамью, он спрашивает её:

– Устала?

Он говорит громко, и девочка, вздрагивая от его вопроса, кивком головы отвечает ему.

Сидит она обыкновенно долго – час и более, но я никогда не видал, чтобы она разговаривала со своим провожатым. Глаза её смотрят вперёд и безмолвно спрашивают – кого? о чём? Против неё пруд: среди пруда из воды торчит некрасивый пирамидальный камень, струя воды бьёт высоко кверху из его вершины и с звонким шумом падает в пруд. Там, где эта струя, переламываясь, дробится на капли и они каскадом падают вниз, – лучи солнца окрашивают их во все цвета радуги, это очень красиво и похоже на град из разноцветных драгоценных камней. Но девочка никогда не смотрела на эту игру солнца – взгляд её направлялся всегда куда-то дальше того, что было пред ним, точно она видела что-то сквозь предметы.

Это созерцание среди жизни, кипевшей вокруг больной, производило какое-то мистическое впечатление, близкое к ужасу.

«За что она страдает? Ради чего и кому нужно было, чтобы она родилась для такого существования?»

Такие вопросы родились при виде её, и становилось холодно от этой жестокости, никому не нужной, и тем более жестокой.

…Однажды, когда её проводник – гувернёр или отец? – ушёл, оставив её на лавочке под кедром, – я сел рядом с ней. Она посмотрела на меня и улыбнулась – печальной улыбкой, от которой у меня сжалось сердце. Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал о чём, – и молчал, смущённый её взглядом, чувствуя к ней что-то большее, чем уважение.

Вокруг нас раздавался весёлый и мощный шум жизни, над нами птицы, у наших ног муравьи – всё торопилось жить, летало, пело, суетилось. Я смотрел на ребёнка и думал: «Хорошо, если она не сознаёт глубокой оскорбительности контраста между нею и кедром, под которым она сидит, и муравьём, на которого она, не замечая его, бросила лепесток цветка!»

Она заговорила со мною первая.

– Вы тоже хвораете? – улыбаясь, сказала она слабым голосом.

– Немножко, – отвечал я.

– Вам хорошо здесь?

– Да… А вам?

– Я не люблю, когда много солнца… и шум…

– Разве вам не нравится этот шум? Он же такой красивый… Послушайте – соловьи и жаворонки, волны моря и ручьи, шелест листьев…

– Много очень… и громко. Если бы тише…

– Да, пожалуй, тише было бы лучше…

Она с убеждением кивнула головой и сказала ещё:

– В Петербурге – вот где противно! А в деревне у нас тихо, тихо! Особенно ночью. Я очень любила ночью лежать и слушать. Слушаешь долго… долго, и ничего не слышно… точно и нет ничего на земле… и даже земли нет… Потом что-нибудь вдруг услышишь и вздрогнешь…

Так очень хорошо…

Она закашлялась.

– Вам вредно говорить…

– Да, – просто сказала она, помолчала и тихонько, почти шепотом, сказала: – Мне всё вредно…

Я встал и ушёл от неё, боясь выдать пред ней скорбное волнение, охватившее меня.

С той поры, встречаясь, мы стали раскланиваться – она всегда кивала мне головкой и улыбалась, и с каждым днём в её улыбке всё менее было жизни.

Однажды, когда я пришёл в парк и искал её, я увидал безучастного господина, который шёл мне навстречу, держа девочку на руках.

Когда он поравнялся со мной, я, охваченный какой-то боязнью, тихо спросил его:

– Уснула?

Он озабоченно взглянул на меня и глухо ответил:

– Умерла…